


БОРИС КРИГЕР

A portrait of an elderly man with a full white beard and mustache, wearing a dark suit and a bow tie. He is looking directly at the camera with a serious expression. The background is dark and out of focus.

**АРХИТЕКТОР
ПРАГМАТИЗМА
ЧАРЛЬЗ
ПИРС**

БОРИС КРИГЕР

Архитектор
прагматизма
Чарльз Пирс



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to krigerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Архитектор прагматизма Чарльз Пирс

Эта книга стремится извлечь фигуру Чарльза Сандерса Пирса из-под концептуального наносного слоя прагматизма, который слишком часто носит его имя, но редко сохраняет его замысел. Он был не проповедником утилитарности и не предвестником релятивизма, а мыслителем, выстроившим философию на фундаменте логической строгости, семиотической структуры и эпистемологической ответственности. Его философия не отказывалась от истины — напротив, она переосмысляла её: как достижение коллективного исследования, как очищенный результат абдуктивного поиска и как этическую верность знакам, значение которых простирается за пределы их употребления.

В эпоху, где мышление подменяется имитацией, где согласие становится перформансом, а убеждения усиливаются алгоритмически, метод Пирса предстает не как отголосок рационализма девятнадцатого века, а как конструкция, необходимая для организации понимания в двадцать первом. Его триадическая семиотика, эволюционная эпистемология и логика исследования становятся не просто инструментами сопротивления распаду смысла — они позволяют вновь собирать его по частям, с точностью, скромностью и терпением.

Архитектор прагматизма Чарльз Пирс

Соблюдая внутреннюю трезвость, прагматизм не позволяет увлечься иллюзиями. Он ведёт к пониманию, что истина — не музейный экспонат, а живой процесс, возникающий на пересечении мысли и поступка. Избегая крайностей, он формирует способ мышления, где важна не красота формулировки, а её способность направлять усилия, облегчать выбор и вести к достижению полезного результата.

Прагматизм — это направление мысли, в котором истина утрачивает абстрактную возвышенность и начинает измеряться пользой, приносимой в конкретной ситуации. Все идеи, понятия и убеждения рассматриваются сквозь призму их практического действия. Если нечто работает, если позволяет достигать поставленных целей, значит, оно заслуживает признания. Не важно, насколько изысканна теория или насколько она соотносится с какими-либо вечными принципами — ценность определяет результат, рожденный из действия.

В этом подходе отказ от догматичности становится основой. Мышление перестаёт быть служением единожды установленной истине, переходя в сферу непрерывной адаптации. Человек, движимый прагматическим подходом, не ищет окончательных ответов, не стремится к неподвижным истинам, но наблюдает, как идеи проявляют себя в реальной жизни, проверяя каждую из них на прочность, пользу и применимость. Идея не выживает в уединении — её жизнеспособность определяется тем, насколько она помогает ориентироваться в сложном, постоянно меняющемся мире.

Обращаясь к прагматизму, нельзя не заметить, как далеко ушла от подлинного замысла та философская традиция, что некогда родилась благодаря Чарльзу Пирсу, который тщательно подбирая слова, ввёл это понятие не как лозунг или философское кредо, а как строгий метод — инструмент, позволяющий прояснять смысл идей, соотнося их с возможными практическими последствиями. Однако в руках его последователей, прежде всего Уильяма Джеймса и Джона Дьюи, этот метод постепенно превратился в нечто иное, обретя черты то психологической установки, то удобного утилитарного подхода, в котором проверка истины сводилась к субъективной полезности и изменчивым условиям опыта.

От этого и пострадало главное — тот самый логический каркас, на который Пирс опирался в своём понимании мышления и познания. Его философия, полная стремлением к ясности и честности ума, постепенно была заслонена течениями, где истина становилась гибкой и даже прихотливой. Он сам, наблюдая это смещение акцентов, вынужден был предложить новое название — "прагматизм", стараясь тем самым дистанцировать своё учение от искажённых интерпретаций, всё сильнее удалявшихся от исходного фундамента.

Обращаясь к его трудам с вниманием к деталям, вчитываясь в каждую формулировку, легко заметить, насколько чужда ему была любая поверхностность. Его тексты требуют вдумчивости, поскольку всякая мысль у него не просто выкристаллизована, но и соотнесена с

широкой системой понятий, в которой логика и метафизика сливаются в единый поток. Для Пирса понятие истины не могло быть оторвано от логического анализа, так же как и само познание — от объективной реальности, существующей вне наших предпочтений и переживаний.

Потому возвращение к Пирсу — это не просто жест исторической справедливости. Это скорее попытка восстановить утраченную точку опоры, необходимую для того, чтобы противостоять нарастающим веяниям эпистемологического релятивизма, где истина может подменяться выгодой, а логическое доказательство — настроением момента. В этой связи его метод не теряет актуальности, напротив, он обретает новое звучание, предлагая философии возможность вновь связать мышление с реальностью, а не с удобством.

Прагматизм, задуманный как точный метод философского анализа, с самого начала предполагал иное направление, нежели то, по которому впоследствии пошли его наиболее известные интерпретаторы. В руках Пирса этот термин не обозначал ни доктрину, ни систему убеждений, ни, тем более, психологическую установку. Он возник как способ определить значение понятий через анализ их возможных практических следствий, а не как попытка подменить истину полезностью. Однако течение времени, как это не раз бывало в истории идей, извратило замысел первооткрывателя, предоставив место более гибким, а потому — более удобным для публики, трактовкам.

Когда Уильям Джеймс, наделяя прагматизм жизненной теплотой и психологической гибкостью, начал превращать его в философию человеческих

переживаний и внутренних выгод, основа, заложенная Пирсом, стала размываться. А Джон Дьюи, двигаясь дальше, усилил эту тенденцию, придав направлению оттенок утилитаризма, тесно сплётённого с демократическим идеалом и педагогической практикой. В результате прагматизм стал восприниматься как учение, где критерием истины служит успешность действия, а не соответствие логике и объективной реальности.

Тем не менее в изначальном проекте Пирса лежало стремление к интеллектуальной добросовестности, к той редкой строгости мысли, которая отказывается удовлетворяться временной выгодой. Ему был чужд субъективизм, искажающий суть понятий ради удобства. Он мыслил философию как форму исследования, подчинённую тем же требованиям точности, что и естественные науки. Поэтому и возникла необходимость отмежеваться от искажённых версий собственной мысли, что и выразилось в введении нового термина — "прагматицизм", слова неудобного, как он сам с иронией признавал, но необходимого, чтобы подчеркнуть отличие.

Обращение к его текстам, написанным с точностью математика и страстью исследователя, возвращает к мысли, где истина — это не то, что полезно, а то, что выдерживает испытание логикой и рассудком. Его философия, несмотря на мнимую сложность, пронизана внутренней ясностью, словно построена по строгим чертежам, в которых не нашлось бы места произволу. И чем внимательнее вглядываться в его систему, тем очевиднее становится, насколько далёким был Пирс от тех интерпретаций, что сделали прагматизм философией

компромисса между истиной и удобством.

Пожалуй, немногие философские понятия испытали на себе столь причудливое превращение, какое выпало на долю прагматизма. Едва появившись на свет благодаря усилиям Чарльза Сандерса Пирса, задумавшего его как точный инструмент для прояснения смысла через анализ предполагаемых практических последствий, термин почти сразу оказался в чужих руках и был переосмыслен столь радикально, что сам создатель вскоре перестал его узнавать. Настолько глубоким стало его разочарование, особенно в связи с тем, как переиначил его идеи старый друг Уильям Джеймс, что Пирс был вынужден изобрести для своего метода новое, намеренно неуклюжее слово — "прагматицизм", защищая его, как сам с иронией замечал, уродством от похищения.

Этот поворот, кажущийся на первый взгляд лишь спором о словах или размолвкой между мыслителями, на деле обнажает гораздо более серьёзное расхождение — не только методологическое, но и онтологическое. Если прагматизм Джеймса обращался к личному опыту, внутренней убеждённости и полезности как главному критерию истины, то в системе Пирса во главу угла ставилось не индивидуальное восприятие, а совместное исследование, логическая строгость и верность реальности, существующей независимо от человеческой воли. В этом различии заключался не просто академический спор, а выбор между двумя философиями мышления — одной, стремящейся к истине как к результату общего усилия, и другой, склонной видеть её в согласии с чувствами и желаниями отдельного человека.

Именно в этом контексте возвращение к изначальным

формулировкам Пирса приобретает особую значимость. В эпоху, когда язык становится всё более гибким, а смысл — всё менее устойчивым, когда публичная речь превращается в игру намёков и эффектных позиций, его строгость, казавшаяся избыточной, вдруг оказывается поразительно современной. Мысль Пирса, пронизанная верой в то, что истина — это не субъективное утешение, а результат долгого и открытого поиска, вновь обретает вес. Его философия не предлагала конечных ответов, но утверждала дисциплинированное стремление к пониманию, в котором каждое суждение подлежит проверке, каждое значение строится в знаковой системе, а каждое открытие рождается через гипотезу и допускаемую возможность ошибки.

Возвращение к такому подходу означает не просто историческую реконструкцию, а восстановление утраченного этического горизонта мышления, в котором философия не должна развлекать или утешать, но обязана быть верной самому хрупкому, что есть у разума, — стремлению к объективному знанию, которое не подчиняется желаниям, но служит истине.

Прагматизм возник не как система убеждений или способ устроить мысли по образцу бытовой пользы, а как строго определённый метод. Чарльз Сандерс Пирс сформулировал его во второй половине XIX века, стремясь установить правило, согласно которому смысл всякого понятия проясняется через возможные практические следствия. Но речь шла не о том, чтобы считать полезное истинным, а о том, чтобы сделать мысль ясной в ходе исследования. Это была попытка соотнести значение с проверяемым действием, а не с психологическим комфортом или общественной

выгодой.

Поскольку это понимание было довольно быстро подменено на более гибкие и привлекательные толкования, сам Пирс вынужден был отказаться от слова, которое придумал, предложив вместо него тяжеловесное и нарочито неуклюжее — прагматизм. Он хотел этим термином очертить границы: показать, что его подход требует логической стройности, научной добросовестности и точности в рассуждении. Здесь не могло быть места произвольным интерпретациям, склонным смешивать истину с практическим удобством.

Одной из основополагающих идей, лежащих в основании его логики, стала абдукция — особый вид умозаключения, не сводящийся ни к дедукции, ни к индукции. Это первый шаг рассуждения, в котором ум выдвигает наиболее правдоподобную гипотезу для объяснения неожиданного факта. Именно с этого начинается всякое открытие. Абдукция не гарантирует истину, но она открывает путь к поиску, формируя отправную точку для проверки и уточнения.

К этой логике тесно примыкает и его теория знаков, или семиотика. Пирс мыслил познание как бесконечную цепь интерпретаций, где каждый знак — это не просто символ, но элемент системы, в которой участвуют объект, знак и интерпретант. Последний — не готовое значение, а реакция сознания на соотношение между знаком и предметом, возникающая в контексте восприятия и понимания. Это не окончательная точка, а следующая ступень, новый знак, рождающий очередной виток рассуждения.

Материалом для всей этой работы становится фанерон — всё, что предстает перед сознанием в опыте. Неважно,

существует ли это внешне или нет, имеет ли объективную природу — важно то, как это воспринимается, фиксируется, включается в поток мышления. На этом поле и происходит игра знаков, формирующих знание. Однако Пирс не останавливался на уровне феноменологии. Его взгляды проникали глубже, в метафизику, где ключевое место занимала идея тьюизма — допущения, что в мире изначально присутствует элемент подлинного случая. Это была попытка разорвать цепь детерминизма, вернуть миру спонтанность, без которой, по Пирсу, невозможно было бы ни развитие, ни подлинное мышление.

На этом фоне особенно важной становилась концепция синехизма — идеи непрерывности. Пирс утверждал, что мир устроен не по принципу дискретных фрагментов, а как цельный, постепенно изменяющийся процесс. Не только пространство и время, но и логика, и само бытие развиваются как единая ткань, без резких скачков. Отсюда вытекала и его трактовка непрерывности, не как математической абстракции, а как основного принципа существования, проявляющегося во всём: от законов природы до эволюции мышления.

Сам Пирс никогда не мыслил свои идеи вне контекста сообщества. Он принимал участие в «Метафизическом клубе» — неформальной группе, собиравшейся в 1870-х годах, где обсуждались проблемы веры, сомнения и познания. Там, среди прочих, был и Джеймс, и разница между ними начинала обозначаться уже тогда. Именно в рамках этих встреч начала прорасти идея, что истина — не индивидуальное озарение, а результат долгого, совместного и исправляемого поиска.

В этом контексте истина у Пирса — не то, что кажется

верным сегодня, а то, что выдержит проверку бесконечно продолжающегося исследования. Она не принадлежит отдельному человеку, она — горизонт, к которому тянется коллективное мышление. Отсюда рождается и образ «сообщества исследователей» — идеального множества умов, обменивающихся суждениями, исправляющих друг друга, стремящихся к результату, который однажды мог бы быть признан всеми как окончательно убедительный.

Даже в самых технических деталях Пирс сохранял верность своей логике. Символ «стрелки», которым он обозначал логическую импликацию, позже вошёл в современную систему логики, став её неотъемлемой частью. Даже в картографии он оставил след — его проекция карты иллюстрировала, как абстрактное мышление может воплощаться в точных, технических решениях.

Хотя термин «эволюционная эпистемология» появился позже, сам Пирс в своих трудах подступал к этой идее вплотную. Он мыслил разум как нечто развивающееся, подчинённое законам отбора, где познание — это способ адаптации, а знак — элемент, помогающий ориентироваться в изменяющемся мире. Всё его наследие можно прочесть как попытку объединить биологию, логику и философию в одно общее движение мысли, подчинённое стремлению к истине, которую нельзя ухватить сразу, но к которой можно приближаться, если мыслить — честно, точно и в сообществе.

Философская картина, в которой формировался Чарльз Сандерс Пирс, была насыщена тревожным напряжением

переходной эпохи. Конец девятнадцатого века в англоязычном мире ознаменовался одновременно расцветом научного эмпиризма и разложением классических метафизических систем. Между этими двумя полюсами Пирс искал путь, который позволил бы сохранить строгость логического анализа, не отказываясь от открытости научного поиска. Его философия выростала из желания объединить математическую точность с живой, развивающейся природой знания, не поддаваясь ни догматике рассудка, ни грубому редукционизму ощущений.

Он не отрицал влияния предшествующих традиций — напротив, питался ими, перерабатывая их в своём мышлении. Из кантианства он заимствовал уважение к структуре разума, но отказался от идеи неизменных, внеисторических категорий, считая, что понятия формируются и изменяются вместе с ходом опыта. Британским эмпирикам он противопоставлял не чувственные данные, а знаки и отношения между ними, настаивая на том, что знание строится не на впечатлениях, а на логически организованных интерпретациях. При этом его интерес к схоластическому реализму, столь редкий для современного ему мышления, подталкивал его к убеждению, что универсалии обладают подлинной, пусть и нематериальной, реальностью. Эта позиция была для него не столько данью средневековой мысли, сколько твёрдым философским выбором в противовес нарастающему номинализму.

На исторической оси Пирс оказывается в самом истоке того направления, которое позже получит название американского прагматизма. Его статья «Как сделать

наши идеи ясными», опубликованная в 1878 году в журнале *Popular Science Monthly*, впервые вводила то, что впоследствии станет знаменитым прагматическим принципом. В этой формуле заключалась попытка придать смысл абстрактным идеям, соотнося их с предсказуемыми последствиями в опыте. Тогда этот текст остался почти незамеченным, но именно он заложил основание для философского движения, которое вскоре начнёт расти под другим углом — в трактовке Уильяма Джеймса.

Сотрудничество между Пирсом и Джеймсом со временем стало сопровождаться неразрешимыми противоречиями. Джеймс, увлечённый значением веры, психологией убеждения и моральной функцией знания, постепенно преобразовал прагматизм в нечто иное — в философию, где истина приобретает черты личного опыта, а мысль оценивается по критерию «что работает». Такой сдвиг придавал учению гуманистический и психологический оттенок, делая его ближе к потребностям аудитории, но одновременно отдаляя от методологической строгости, которую изначально замыслил Пирс.

Наблюдая, как его замысел перерождается, Пирс испытывал тревогу. Он воспринимал такую трансформацию как нарушение сути: вместо исследовательского метода, направленного на уточнение смысла через логические процедуры, возникла система, допускавшая любую субъективную интерпретацию. Чтобы отмежеваться от растущей расплывчатости, он в 1905 году придумывает слово «прагматицизм» — грубое, нарочито некрасивое, но защищающее от дальнейших искажений. За этим названием скрывалось

требование к точности, к общности исследования, к реализации идеи знания как коллективного дела, основанного на знаковых процессах, а не на психологии веры.

Однако философское развитие прагматизма уже пошло по другому пути. Джеймс сделал его популярным, а Джон Дьюи — социально значимым. Линия Пирса, насыщенная метафизической глубиной, логическими построениями и научными амбициями, осталась на периферии. Его труды долгое время воспринимались скорее как источник вдохновения, чем как целостная система. Даже тогда, когда интерес к его идеям начал пробуждаться во второй половине двадцатого века — благодаря росту внимания к семиотике, логике и философии науки, — его имя чаще упоминалось в исторических обзорах, чем в живом теоретическом контексте.

Это забывание стало не просто историческим недоразумением. Оно привело к тому, что под именем прагматизма стало распространяться учение, утратившее свою логическую сердцевину. То, что когда-то задумывалось как метод исследования, стало восприниматься как философия комфорта — гибкая, удобная, часто подстраивающаяся под вкусы эпохи. Между тем подлинный замысел Пирса не только сохраняет свою актуальность, но и предоставляет мощный ответ на вызовы времени. Его философия утверждает, что значение — это не личное чувство, а общее пространство, что исследование — это не мгновенное озарение, а открытый и ошибочный путь, и что истина — это не выбор потребителя, а идеал, к которому стремится сообщество умов, объединённых

стремлением мыслить строго, честно и сообща.

Среди множества оснований, на которых зиждется философия Чарльза Сандерса Пирса, особенно выделяется одно — редкое по глубине и до сих пор недостаточно исследованное. Речь идёт о том, что прагматический метод оказывается не только логически обоснованным и метафизически выверенным, но и эволюционно оправданным. Если рассматривать мышление не как отвлечённый дар, украшение разума или символ автономной воли, а как продукт естественного отбора — как инструмент, возникший в ответ на необходимость выживания в сложной и изменчивой среде, — тогда философия, опирающаяся на действенность идей, обретает не абстрактное, а биологически обоснованное значение.

Пирс, чутко улавливая эту связь, в поздних текстах всё чаще обращался к образу рассуждения как процесса формирования привычек. Мысль, по его представлению, сохраняется не потому, что соответствует какой-то вечной норме, а потому, что способна обеспечивать надёжные результаты в различных обстоятельствах. Подобно тому, как в дарвиновской модели выживают только те формы, которые демонстрируют приспособляемость, идеи удерживаются именно благодаря своей работоспособности в потоке жизни, а не благодаря однократной истинности.

Прагматический принцип, формулирующий смысл как способность влиять на возможное поведение, оказывается встроенным в логику эволюции. Понимание становится не просто результатом мышления, но частью адаптивного поведения, связанного с предсказуемыми

последствиями. Мысль, обретая значение, вступает в отбор: проверяется на прочность, подвергается коррекции, сохраняется лишь в том случае, если выдерживает воздействие контекста. Истина в таком подходе перестаёт быть отвлечённым соответствием, она становится тем, что выживает в ходе исследования, пройдя сквозь ошибки, недоразумения, противоречия и изменение условий.

Образ сообщества исследователей в этом свете напоминает экосистему, в которой идеи развиваются подобно биологическим формам. Гипотезы возникают как мутации — они либо приживаются, либо исчезают, сталкиваясь с опытом. Критерий отбора здесь — эпистемическая пригодность: способность быть понятным, проверенным, уточнённым. Именно поэтому Пирс настаивал на коллективном, поддающемся исправлению характере познания. Не из процедурной приверженности, не ради идеала академической дискуссии, а потому, что вне совместного усилия мышление остаётся эволюционно незавершённым. Только в постоянной обратной связи с другими умами формируется та форма знания, которая способна продержаться.

Этот подход оказывается противопоставлен сразу двум крайностям. С одной стороны — идеализму, представляющему разум как нечто самодостаточное, не связанное с историей или материей, с другой — релятивизму, который полностью растворяет знание в контексте и культуре, отказываясь от самой возможности универсальности. Пирс предлагает третий путь: мышление развивается исторически, оно подвержено ошибкам, но именно благодаря этому и

может совершенствоваться. Оно не фиксировано, но и не произвольно — его траектория подчиняется логике адаптации, постоянной корректировке в направлении большей точности.

Особое место в этой системе занимает абдукция — то начальное умозаключение, с которого начинается всякое исследование. Пирс рассматривал её не как произвольное предположение, а как стратегию, выработанную в ходе эволюции. Способность реагировать на неожиданность, формировать правдоподобные гипотезы и проверять их поведением — это не роскошь интеллекта, а биологически необходимая функция, позволяющая живому существу ориентироваться в неопределённости. Абдукция — это не просто когнитивный приём, это отражение самой логики выживания, превращённой в рассуждение.

Следовательно, прагматизм, основанный на абдуктивной природе значения, оказывается философией, выросшей из самой ткани эволюции. Это не метод, навязанный действительности, а способ мышления, открытый в ходе того, как сама действительность требует от ума гибкости и надёжности. Он оправдывает себя не ссылкой на априорные истины, а доказанной способностью сохраняться в среде. Идеи, способные действовать, имеют значение. И те, что выдерживают испытание временем, становятся частью знания, не потому что они неизменны, а потому что они живучи.

Одним из самых разительных отходов современной прагматической мысли от замысла Пирса стало повсеместное принятие концептуальной

относительности — взгляда, в котором значения перестают быть устойчивыми, обретая подвижный, открытый характер, способный бесконечно трансформироваться в зависимости от социальных или утилитарных задач. Это новое направление, вобравшее в себя черты неопрагматизма, постструктурализма и культурного конструктивизма, оказалось ближе к постмодернистским представлениям о знании, чем к строгой логико-семиотической системе Пирса. Хотя внешне подобные подходы нередко подаются как продолжение его традиции, на деле они действуют на ином уровне, разрушая ту нормативную структуру, которая была для Пирса краеугольной.

Ричард Рорти, пожалуй, наиболее яркий представитель этого поворота, открыто отвергал идею истины как соответствия или как предельной точки сходимости мнений в идеальном исследовательском сообществе. Он предлагал понимать истину как то, с чем согласятся окружающие — точнее, как то, с чем удастся сойтись, если достаточно искусно это представить. В результате прагматизм у него превращался не в метод оправдания убеждений, а в культурный инструмент, в способ этического и риторического самостроительства. Полезность идеи, согласно этой логике, определяется не её логическим местом в структуре знания, а её влиянием на окружающих — эффектом, который она производит в социальном поле.

Такой подход привлекателен в политическом и культурном отношении: он открывает пространство для плюрализма, для признания множества голосов, для гибкости. Однако философские последствия оказываются куда более сложными. Прежде всего,

размывается грань между значением и употреблением. Пирс настаивал: мысль должна иметь определённый набор предсказуемых последствий, вписанных в систему знаков и поддающихся логическому анализу. Если же значение становится целиком зависимым от контекста, исчезает точка опоры, позволяющая отличить подлинное исследование от нарратива, созданного по случаю. Далее — стирается различие между исследованием и идеологическим утверждением. Пирсовская модель сообщества исследователей строилась как пространство, где работают не ради убеждения, а ради уточнения. Не мнение должно побеждать, а истина должна вырабатываться, даже если её не удаётся достичь окончательно.

Современная версия прагматизма нередко подменяет это исходное намерение. Там, где Пирс видел логическое усилие, укоренённое в объективной реальности и допускающее возможность ошибки, многие из новых мыслителей склонны видеть дискурсивную игру, в которой разум подчиняется властным структурам или риторическим правилам. Если истина становится лишь тем, о чём удалось договориться, теряется само различие между ошибкой и обманом, между уточнением и манипуляцией. Метод, предназначенный для прояснения, оборачивается механизмом перераспределения влияния. Он перестаёт быть исследовательским инструментом и превращается в политическую технологию — не для постижения смысла, а для конструирования консенсуса.

При этом нарушается самое главное — реализм Пирса, его убеждение, что истина, пусть и недостижимая в абсолютном виде, остаётся вне наших желаний. Мы

можем ошибаться, но это не значит, что истина размыта; мы можем расходиться во мнениях, но это не повод полагать, что истина множественна. Она, как он писал, асимптотична: к ней можно приближаться бесконечно, но нельзя произвольно менять её направление. Новейшие прагматические интерпретации зачастую перестают видеть в истине даже направление — она становится подвижной, как взгляд, как интерес, как текущий момент.

Это смещение не является незначительным нюансом. Оно указывает на глубокую переориентацию философского проекта. Из строгого метода, дисциплинирующего мышление, прагматизм в некоторых версиях превратился в этику случайности, в искусство адаптации к обстоятельствам. Потому задача заключается не только в том, чтобы вернуть Пирса на полагающееся ему место в истории идей, но и в том, чтобы заново оценить исходные допущения тех, кто, прикрываясь его именем, нередко говорит на совсем ином языке.

В самом сердце динамической модели познания, разработанной Чарльзом Сандерсом Пирсом, скрывается мыслительная операция, часто оставаемая в тени — абдукция. В отличие от более известных форм умозаключения, таких как дедукция и индукция, она занимает уникальное положение: именно здесь, в момент столкновения разума с неожиданностью, рождается первый импульс объяснения. Если дедукция применяет общее правило к частному случаю, а индукция выводит обобщение из наблюдаемых повторений, то абдукция — это прыжок в гипотезу,

попытка осмыслить удивительный факт через предположение, которое делает его понятным. Она не даёт гарантии истины, но без неё невозможно начать движение мысли.

Пирс понимал этот момент как начало всякого исследования, как то, что предшествует системности и эксперименту. В столкновении с неожиданным не происходит логической обработки известного материала — наоборот, происходит выдвижение новой идеи, опирающейся на ограниченную интуицию, на догадку, которая может оказаться ложной, но открывает путь. Именно поэтому он утверждал: абдукция — это единственная логическая операция, которая порождает нечто новое.

Внутри философской системы Пирса абдукция выполняет сразу две ключевые функции. С одной стороны, она расширяет пространство возможного значения, показывая, что исследование начинается не с уверенности, а с осмысленного предположения. С другой — она сохраняет сложное равновесие между воображением и реальностью. Предположения не произвольны: они должны быть проверяемыми, логически связанными и поддающимися уточнению. Тем самым, абдукция удерживает мышление от скатывания в произвол, сохраняя за ним гибкость, но не хаотичность.

В условиях современной прагматической философии, особенно на фоне господствующей концептуальной относительности, абдукция становится возможным противовесом. Там, где новые подходы зачастую утверждают текучесть значения как положительное качество, уводя интерпретацию в сторону бесконечной

культурной игры, Пирс возвращает внимание к границам мысли. Удивление, на котором основывается абдукция, не произвольно. Оно диктуется внешним миром, конкретным феноменом, нарушающим ожидания. А гипотеза, в ответ на это удивление, не может быть просто риторической реакцией — она обязана вписываться в структуру рассуждения, быть понятной и открытой для дальнейшей проработки.

Именно здесь абдукция соединяется с более широкой философией Пирса. Она допускает ошибочность, но исключает произвол; допускает творческий момент, но отказывается от субъективной закрытости; она начинается внутри разума, но направлена наружу — к объекту, к реальности. Это не просто способ порождения идей, это форма логики, приспособленная к миру, в котором неопределённость — не исключение, а правило. Абдукция становится логикой реализма в условиях незавершённого знания.

Такой подход защищает саму суть прагматизма от вырождения в удобную доктрину. Прагматизм, построенный на абдуктивном принципе, остаётся методом открытия, а не стратегией приспособления. Он не подчиняется желаниям или интересам, а удерживает направление мысли на взаимодействии с реальным — даже если это взаимодействие всегда остаётся неполным. Именно благодаря абдукции возможна связь между мыслью и фактом, между вопросом и миром, в котором на него можно искать ответ.

В числе самых глубоких и долговечных достижений Чарльза Сандерса Пирса особое место занимает его теория знаков — семиотика, без которой невозможно

представить себе ни его эпистемологию, ни метафизику, ни саму структуру мышления. Это не побочный элемент системы, не техническое дополнение, а фундамент, на котором строится вся его философия. Понимание смысла, процесс мышления и сама связь между умом и реальностью обретают у него форму знаковой динамики, развернутой в строгой и при этом гибкой триадической модели. В отличие от постструктуралистских подходов, склонных к разрыву между знаком и референцией, модель Пирса сохраняет направленность знака к миру, не впадая ни в наивный реализм, ни в произвольную интерпретацию.

В центре этой теории стоит соотношение трёх элементов: знак (или репрезентамен), объект, на который он указывает, и интерпретант — не готовое значение, но следующий знак, возникающий в сознании как реакция на первый. Этот интерпретант не фиксирует смысл раз и навсегда, а открывает пространство для его развития. Интерпретация у Пирса — не завершённый акт, а непрерывный процесс, в котором каждое новое понимание порождает следующее, образуя цепь смыслов, движущихся сквозь опыт, исследование и привычку мышления. При этом сама цепь не распадается в хаосе, потому что в ней действуют логические ограничения, эмпирическая обусловленность и стремление к истине, выступающее как регулятивный принцип.

Такое понимание смысла бросает вызов сразу двум крайностям. С одной стороны, оно отвергает представление о прямом доступе к реальности, свободном от знаковых посредников. С другой — оно не допускает того, чтобы знаки были автономными,

самодовлеющими структурами, существующими лишь в рамках языковой игры. Каждый знак, как бы ни был он условен, тянется к чему-то вне себя, и развитие знаковой цепи можно оценивать по тому, насколько она приближает понимание к объекту — не в абсолютном, но в рабочем, операциональном смысле. Значение у Пирса всегда является результатом интерпретации, но это не делает его произвольным.

В этой модели эпистемология тесно переплетается с этикой. Понимать знак — значит не просто извлекать из него пользу или выявлять внутренние связи, но брать на себя ответственность за его объект и за то сообщество интерпретаторов, которое продолжает процесс. Понимание становится обязанностью: нельзя трактовать знак как угодно, если цель — не эффект, а истина. Здесь Пирс находит то измерение, которого часто лишены релятивистские модели: нормативную сторону мышления. Смысл не договаривается свободно между участниками дискурса, он обусловлен внешним содержанием и внутренней логикой истолкования. В этом отношении семиотика оказывается не только познавательной, но и нравственной дисциплиной.

Кроме того, теория Пирса удивительным образом предвосхищает многие современные заботы, связанные с коммуникацией, медиа, и даже с искусственным интеллектом. Его понимание интерпретации как рекурсивного, коллективного и вероятностного процесса позволяет рассматривать смысл в условиях сложных, многослойных информационных сред, где линейные теории уже не работают. Ни корреспондентские модели истины, ни крайние конструктивистские подходы не способны столь гибко и в то же время структурно

удерживать связь между мыслью, знанием и действием. В системе Пирса значение может эволюционировать, не разлагаясь в субъективизм, а истина может оставаться ориентиром, не превращаясь в догму.

В условиях современного прагматизма, насыщенного идеями текучести и дискурсивной свободы, семиотика Пирса вводит обратно структурное измерение. Она возвращает границы туда, где интерпретация стала бесконтрольной, и устанавливает ответственность там, где значение стало мерой влияния. Через эту призму вся его философия обретает основу в реализме знаков — в системе, где смысл, каким бы изменчивым он ни был, всегда подотчётен: опыту, логике и совместному усилию понимания.

Во второй половине двадцатого века философское мышление оказалось под воздействием мощной волны скепсиса, направленного не только против универсальных метанарративов, но и против самой устойчивости значения, причинной силы действия и доверия к реальности как опоре мышления. Постмодернистская перспектива, оформленная в работах Жана Бодрийяра, Жака Деррида и Ричарда Рорти, радикально изменила само пространство рассуждения, в котором когда-то возник и развивался прагматизм Пирса. Но вместо продолжения — возник разрыв. Основания, на которых держалась его логика исследования, оказались стерты или глубоко переосмыслены, а смысл как ориентир действия превратился в самостоятельную игру, утратившую связь с объектом и последствиями.

Пирс утверждал: значение понятия раскрывается через

воображаемые последствия, способные направлять действия и исследование. Это была система, где знак указывал на объект, порождая интерпретанта, ведущего к новому пониманию и, в идеале, к истине. Но постмодернизм разрушил оба звена этой цепи. Действие, утратив причинную действенность, всё чаще понималось как спектакль, как повторяющийся жест в знаковой системе, не производящий изменений, а лишь создающий впечатление. Само значение стало текучим — не как эволюционная форма, поддающаяся коррекции, а как бесконечное скольжение от одного знака к другому. Объект исчезал, растворяясь в цепи знаков, а интерпретант превращался в замкнутую рекурсию, не подверженную никакому внешнему контролю.

Идея симулякра у Бодрийяра, в этом смысле, даёт наглядную картину постмодернистского состояния: знаки больше не указывают на реальность — они ссылаются лишь друг на друга, замыкаясь в системе, не имеющей внешнего содержания. В такой среде прагматический принцип Пирса — по сути, метод соотнесения смысла с потенциальным действием — оказывается парализованным. Без устойчивого объекта, без предсказуемого результата, без направленного процесса интерпретации сам смысл превращается в эффект, производимый внутри игры, а не в путь к знанию.

С точки зрения Пирса, это не развитие теории, а симптом разрушения философской ответственности. Исследование у него начинается с удивления, строится на абдукции и проверяется реальностью. Но в постмодернистском сдвиге удивление становится

эстетическим приёмом, абдукция заменяется неопределённостью, а реальное подвергается сомнению или вовсе исключается из игры. Исчезает различие между интерпретацией и манипуляцией, между вопросом и жестом. Там, где Пирс видел движение мысли к истине, возникает рассеянная структура без направления, без опоры и без цели.

И всё же именно это философское разрушение позволяет острее увидеть, что поставлено на карту в наследии Пирса. Его настаивание на строгой структуре знака — соотносящей репрезентамен, объект и интерпретант — оказывается не риторическим формализмом, а защитой от распада мышления. Его понимание истины как предельной точки коллективного поиска не противоположно множественности мнений, но стремится удержать в ней ось. А смысл, по Пирсу, не украшение мысли, не стилистический приём, а операциональная категория, проверяемая в действии, подотчётная результату и логике.

Возвращение к его философии в таком контексте не может быть актом ностальгии. Это интервенция в размягчённый язык постмодернизма, где всё становится возможным, но ничто не становится обязательным. Позиция Пирса утверждает: значение может изменяться, но не может быть свободным от реальности; действие можно интерпретировать, но нельзя лишать его следствия; мышление может быть открытым, но не расплывчатым. Против логики размывания, против знаковой инфляции, где всё значимо и потому ничто не имеет значения, он предлагает философию структурной открытости — модель знания, способную выдерживать напряжение между изменчивостью и направленностью,

между интерпретацией и истиной, между знаком и миром, который он, несмотря ни на что, продолжает означать.

За последние десятилетия когнитивные науки и искусственный интеллект прошли путь от строгих формальных моделей к вероятностным рассуждениям, гибким репрезентациям и динамическим формам интерпретации. В этом переходе к адаптивности и контекстуальности все чаще просматриваются черты, поразительно напоминающие идеи, заложенные Чарльзом Сандерсом Пирсом задолго до появления цифровых вычислений. Несмотря на то что его имя редко звучит в технических публикациях, его философская система предлагает глубоко проработанный каркас, способный объединить классическую логику с интуитивной пластичностью когнитивных моделей, связать символические структуры с обучающимися машинами, преодолеть разрыв между синтаксисом и смыслом.

В центре этой системы находится мысль о том, что само мышление — это семиотический процесс. Разум действует как механизм производства, интерпретации и рекомбинации знаков, и именно в этой знаковой динамике рождается знание. То, что в современной философии ИИ называют проблемой символического якорения — необходимостью соотнести абстрактные представления с действительностью — у Пирса получает строго структурированное решение. Его триадическая модель, в которой знак, объект и интерпретант образуют устойчивую, но открытую к развитию цепь, предполагает, что значение возникает не из внутренней

структуры символа, а из интерпретации, подчинённой как логике, так и опыту. Это не замкнутый алгоритм, а процесс, в котором участие принимает сам мир.

Особое внимание Пирс уделял абдукции — той стадии рассуждения, в которой рождаются гипотезы. В современных системах машинного обучения аналогом абдукции становится генерация моделей на основе неполных данных: именно так работает байесовский вывод, именно так устроено предсказание в условиях неопределённости. Пирс предвосхищал это направление, настаивая, что рассуждение не ограничивается либо выводом из общих правил, либо накоплением наблюдений. В центре находится способность к предположению — рациональной, но творческой догадке, которая запускает исследование.

Он также предлагал архитектуру мышления, разбитую на уровни: инстинктивный, ассоциативный, логический. Эта структура удивительно перекликается с современными гибридными архитектурами ИИ, где объединяются нейросетевые модули (обеспечивающие распознавание и обучение на примерах), символические блоки (отвечающие за формальную обработку) и управляющие компоненты, реализующие планирование и контроль. Там, где современные исследования борются с задачей синтеза восприятия и рассуждения, модель Пирса предлагает прочную основу, в которой эти процессы не конкурируют, а текут в едином интерпретативном русле.

Ещё более ярко его идеи проявляются в понятии истины как предела бесконечного исследования. Такая трактовка близка к пониманию обучения как процесса без завершения, где система непрерывно обновляет

представления на основе новых данных. Принцип фаллибилизма, важность обратной связи, распределённый характер познания — всё это находит отклик в современных мультиагентных системах, в интерактивных структурах, где знание не локализовано в одной точке, а развивается в совместной работе. В этом смысле Пирс оказывается не просто философом логики прошлого, а предшественником той эпистемологии, которая нужна эпохе цифровых умов.

Тем не менее его наследие в области ИИ по-прежнему остаётся почти незадействованным. Долгое господство формального подхода, а затем увлечение нейросетями, оставили мало места для мысли, в которой логика, интерпретация и знаковая структура соединены в неделимое целое. Однако возвращение Пирса в этот разговор может оказаться не просто полезным, но необходимым. Он напоминает, что интеллект — это не только вычисление, не только оптимизация, но прежде всего смысловое различение, способность понимать, а не просто выполнять.

И в этом качестве Пирс способен стать не только критиком тех направлений, которые упростили прагматизм до удобного инструмента, но и провидцем, указующим на будущее мышления в контексте искусственного разума. Его философия может служить картой — не к машинам, повторяющим человеческое, а к системам, способным вступать в интерпретативную игру, ориентированную не на впечатление, а на знание, не на симуляцию, а на истину.

С углублением цифровой эпохи, наполненной генеративными алгоритмами, синтетическими образами

и повсеместной дезинформацией, сама идея истины оказывается под угрозой разрушения не случайного, а целенаправленного. Там, где ещё недавно ошибка воспринималась как отклонение, требующее коррекции, теперь её подменяет умышленная нестабильность, используемая в качестве инструмента влияния. В этих условиях философия Чарльза Сандерса Пирса перестаёт быть страницей из истории мысли и превращается в неотложную этическую программу. Его определение истины как предела бесконечного исследования, как того, что выдерживает все возражения и сомнения, начинает звучать с новой, тревожно актуальной силой. На фоне симулякров, реплик, информационных пузырей и умело управляемого недоверия к фактам, его представление об истине как о выстраданной, проверенной и поддающейся бесконечной коррекции идее вновь обретает значение — не теоретическое, а моральное и политическое.

В цифровом пространстве больше не требуется прямой обман — достаточно лишить знаки их устойчивых связей с реальностью. Знак всё чаще не отправляет к объекту, а функционирует как средство управления вниманием. Он провоцирует реакцию — лайк, репост, голос — без необходимости осмысления. Интерпретант, ранее живой отклик сознания, превращается в заранее запрограммированное поведение. Так возникает новая семиотическая сцена, в которой знак не ведёт к пониманию, а используется для модуляции интереса, построения вовлечённости, усиления эффекта. Алгоритмы не интересуются истиной — они оптимизируют вероятность взаимодействия.

В такой реальности истина становится не просто

эпистемологическим вопросом, а предметом этики. Пирс утверждал: знак обязан быть подотчётен объекту, а исследование — это не личное право, а моральное обязательство. Он отвергал как догматизм, претендующий на завершённое знание, так и произвол, объявляющий, что любое мнение равноценно. Его фаллибилизм был не отказом от истины, а признанием её сложности и необходимости совместного труда по её достижению. Он мыслил сообщество исследователей не как группу, согласующую мнения, а как коллектив, движимый стремлением к реальности, доступной только через знаковое, но проверяемое взаимодействие.

Когда знак становится самодостаточной игрой, а симуляция подменяет исследование, философия Пирса превращается в форму сопротивления. Это отказ признать истину предметом риторики, отказ растворить её в бесконечности версий, отказ подчинить знание алгоритмической выгоде. Его позиция не предполагает авторитарной истины, навязываемой извне, но и не допускает произвольности. Это модель поисковой дисциплины, где каждый шаг подотчётен — логике, опыту, другим интерпретаторам и будущему, где истины нельзя присвоить, но можно к ней приблизиться в диалоге и проверке.

Современные цифровые системы, превосходя человека в скорости, объёме обработки и вероятностной точности, не обладают тем, что Пирс считал основой всякой мысли: логикой значений, укоренённых в реальности. Без этого философского измерения искусственный интеллект рискует стать машиной правдоподобной бессмыслицы, производящей всё более убедительные знаки, всё менее связанные с чем-либо вне себя. Пирс

предвидел такую опасность — пусть и в иной форме — и предложил инструменты для её осознания: строгую семиотику, открытость абдуктивному поиску и понимание истины как того, что не поддаётся манипуляции.

Будущее исследования, будь то человеческое или машинное, зависит не от вычислительных мощностей, а от этической архитектуры значений. В этом смысле труды Пирса становятся не памятником философской мысли, а схемой для будущей эпистемологии в мире симулированного интеллекта. Его философия помогает напомнить: истина — не устаревший идеал, а необходимое условие смысла. И если ещё можно научиться жить в реальности, а не в её имитации, то, возможно, это будет именно тот голос, что впервые прозвучал в трудах первого прагматиста.

Несмотря на очевидную силу аргументов в пользу возвращения к изначальному замыслу Чарльза Сандерса Пирса, нельзя обойти стороной возражения, которые возникают как внутри самого прагматического направления, так и со стороны более широких философских и технологических дискуссий. Эти критические замечания не просто требуют ответа — они дают возможность прояснить границы подхода Пирса, одновременно раскрывая его устойчивость в условиях современного мышления, насыщенного противоречиями, скоростью и идеологической перегрузкой.

Первое и, пожалуй, самое часто повторяемое возражение касается самого понятия истины как «конечной точки исследования». Пирс утверждал, что истина — это то, о

чём в идеале согласятся все исследователи в бесконечном будущем. Скептики находят в этом утверждении утопизм: в мире фрагментированных позиций, множественности методов и неизбежного расхождения ценностей такая перспектива кажется либо наивной, либо не имеющей эмпирической ценности. Но сам Пирс никогда не рассматривал истину как историческую предсказуемость или достижимый консенсус. Для него это был регулятивный ориентир, подобный бесконечности в математике — не результат, а условие возможности разумного исследования. Без идеи стремления к сходимости всякое рассуждение теряет направление и превращается в предпочтение. Его позиция, напротив, позволяет сохранять ориентацию на истину при признании ошибочности — тем самым она избегает как догматизма, так и произвольного релятивизма.

Следующее возражение связано с самой структурой семиотики Пирса. Критикующие утверждают, что его триадическая модель слишком абстрактна, чтобы быть применимой в условиях быстро меняющихся технологических практик — в частности, в таких областях как искусственный интеллект, анализ данных, алгоритмическое обучение. Там, где смысл выражается через числовую оптимизацию, а результат измеряется точностью предсказания, место для интерпретанта и знаковых связей будто бы не остаётся. Но именно этот упрёк обнажает слепую зону технических моделей. Современные системы всё чаще сталкиваются с необходимостью объяснимости, прозрачности, «смысловой читаемости» — именно тех понятий, на которых строится семиотика Пирса. Его модель не отменяет вычисление, но добавляет ему измерение

значений, выходящих за пределы синтаксиса. Термины, которыми сегодня оперируют в ХАИ, в человеко-машинных интерфейсах и в многоагентных системах, в сущности, повторяют различия между знаком, объектом и интерпретантом, пусть и под иными названиями. Здесь Пирс не устарел, а остался непереверждённым.

Третье возражение исходит от тех, кто считает, что прагматизм обязан меняться вместе с эпохой. Ричард Рорти, Роберт Брандом и другие представители неопрагматизма предлагают более гибкие, политически чувствительные и лингвистически утончённые версии подхода, более подходящие для мира, насыщенного дискурсом и осознанием власти. Пирс на их фоне кажется фигурацией XIX века, всё ещё питающейся надеждой на научный прогресс и логическую структуру знания. В этом упрёке содержится доля истины: Пирс действительно сохранял веру в рациональное устройство исследования. Но его философия не исключала случайность, историчность и контекстуальность мышления — напротив, он одним из первых сделал фаллибилизм центральным принципом. Отличие его подхода не в том, что он игнорировал интерпретативность, а в том, что отказывался сводить смысл к власти, а истину — к риторике. Он не принадлежал ни к догматической науке, ни к постмодернистской игре, но стоял на третьем пути — пути критического реализма, допускающего ошибочность, но не отказывающегося от ответственности.

Наконец, выдвигается и самое радикальное возражение: в условиях постправды, автоматизированного производства контента и масштабной симуляции сам акт

исследования может показаться устаревшим. Что значат «истина», «интерпретация», «значение» в мире, где знания проектируются под потребление, а внимание становится товаром? Здесь философия Пирса оказывается не только актуальной, но и решительно антисистемной. Если исследование вытесняется симуляцией, значит, его восстановление становится актом сопротивления. Его модель не отвергает технологии, но требует встраивания в неё ответственности, отсылающей не только к алгоритму, но и к объекту, логике, и к коллективному усилию понимания. Там, где истина превращается в стиль, Пирс напоминает: интерпретация без подотчётности становится манипуляцией, а мышление без ориентации на реальное — пустой симуляцией познания.

Каждое из этих возражений, при внимательном рассмотрении, не только не ослабляет позицию Пирса, но подчеркивает её дальнорзоркость. В мире, где скорость, видимость и эффект часто подменяют глубину, ориентиры его философии становятся средствами не ухода в прошлое, а возвращения к смыслу — как к задаче, как к требованию и как к этике мышления.

Хотя данное изложение стремилось воссоздать и защитить исходный философский замысел Чарльза Сандерса Пирса — от исторических искажений до вызовов современного релятивизма — необходимо признать границы проделанного анализа и очертить области, в которых дальнейшее исследование могло бы углубить и расширить предложенные положения.

Во-первых, основное внимание здесь было сосредоточено на концептуальной структуре

прагматизма Пирса: его эпистемологии, логике исследования и семиотическом реализме. Однако за пределами осталась более тщательная работа с его рукописным наследием, включающим обширные, зачастую фрагментарные тексты, разбросанные по десятилетиям. Полноценное раскрытие философской системы Пирса требует архивной реконструкции, в особенности касающейся его поздней метафизики — таких концепций, как синехизм, тюхизм и агапизм. Эти направления, ещё мало исследованные в системном ключе, могли бы либо углубить, либо поставить под вопрос более формальные аспекты, рассмотренные в данной работе.

Во-вторых, хотя были обозначены точки соприкосновения между философией Пирса и современными направлениями в искусственном интеллекте и когнитивных науках, сами сопоставления имели предварительный, программный характер. Полноценное изучение возможной актуальности семиотики Пирса в контексте современных алгоритмических систем требует более технического подхода. Это относится к моделям машинного обучения, байесовской эпистемологии, нейро-символической интеграции, системам объяснимого ИИ. Потенциал Пирса как философского фундамента гибридных когнитивных архитектур остаётся в значительной степени нераскрытым и требует как теоретического осмысления, так и эмпирических попыток реализации.

В-третьих, критика постмодернистского релятивизма и неопрагматизма, предложенная в тексте, не охватывает всей сложности этих направлений. Постструктурализм включает в себя разные линии мысли —

деконструктивную, генеалогическую, перформативную — каждая из которых заслуживает отдельного философского разбора. То же касается и мыслителей, стоящих на границе между классическим и современным прагматизмом. Работы Хилари Патнэма, Роберта Брандома, Шерил Мисак демонстрируют более тонкую переработку пирсовского наследия, чем это было здесь представлено. В будущем возможно более точное рассмотрение того, в чём состоят линии преемственности и расхождения, какова глубина согласия и в каких моментах различие становится принципиальным.

Наконец, за рамками остался один из самых насыщенных перспективой пластов — социальное, политическое и педагогическое измерение философии Пирса. Каким мог бы быть образовательный проект, основанный на принципах фаллибилизма, совместного исследования и семиотической ответственности? Что означало бы встраивание пирсовской этики истины в работу общественных институтов, в особенности в условиях фрагментированной, конфликтной информационной среды? Возможно ли переосмысление демократической практики, исходя из его идеи сообщества исследователей — не как метафоры, а как этического ориентира, вплетённого в структуру принятия решений?

Всё это лишь намечает горизонты, за которыми скрывается необходимость продолжения. Цель данного исследования заключалась не в окончательной оценке, а в восстановлении Пирса как мыслителя не прошлого, а будущего — философа, чьё учение сохраняет силу в момент, когда истина снова становится проблемой, а

мышление — задачей. Продолжение этой работы требует усилий на пересечении философии, науки и технологии, и именно в этом направлении может разворачиваться дальнейший разговор — о смысле, исследовании, значении и о возможностях их сохранения в мире, всё менее уверенном в их необходимости.

Историческая судьба Чарльза Сандерса Пирса содержит в себе горькую иронию. Метод, который он разработал с беспрецедентной строгостью, метод, опирающийся на способность к самокоррекции, на длительную проверку и на устойчивость в условиях интеллектуальной эволюции, оказался почти не востребованным его эпохой. В то время как философская культура конца XIX и начала XX века стремилась к эффекту, к эмоциональной доступности и психологической убедительности, Пирс предлагал нечто совершенно иное — систему, не рассчитанную на быстрое принятие, не склонную к популяризации, не приспособленную для моментального отклика. Его философия предназначалась не для немедленного одобрения, а для выживания.

Если взглянуть на эту ситуацию с точки зрения эволюционной динамики, становится ясно: речь идёт не о несостоятельности философской позиции, а о своеобразной культурной неадаптивности. В определённый момент история благоприятствовала качествам, которые обеспечивали скорость распространения, но не глубину осмысления. Подобно тому как в биологической эволюции сохраняются черты, не приносящие пользы, а иногда и вредящие организму,

просто потому что они оказались в нужное время в нужном месте, так и в интеллектуальной среде предпочтение было отдано более гибким, но менее устойчивым формам мышления. Риторическая выразительность, эмоциональное воздействие, демократическая доступность — всё это оказалось востребованным, тогда как логическая строгость, онтологическая скрупулёзность и методическая непреклонность отступили в тень.

Уильям Джеймс, с его ясным стилем, гуманистическим пафосом и глубокой верой в значение личного переживания, оказался подходящей фигурой для философского климата времени. Он говорил языком, близким аудитории, его идеи были понятны, полезны, легко встраивались в дух эпохи. Пирс же оставался фигурой иного порядка — сложным, требовательным, нередко конфликтным. Его тексты не предлагали утешения, его идеи не поддавались немедленному восприятию. Он писал не для признания, а из внутренней потребности построить систему, способную выдержать испытание временем. Его реализму было не по пути с философским рынком, на котором важна продаваемость. Но именно в этой непоколебимой неподатливости, в отказе приспособливаться, в постоянной приверженности логике и истине, заключалась прочность его мысли.

То, что не прижилось в интеллектуальной экосистеме начала двадцатого века, вполне может оказаться необходимым в веке двадцать первом. По мере того как цифровая эпоха разрушает границы между истиной и симуляцией, как знания всё чаще производятся вне исследования, а значения теряют опору в реальности,

система Пирса начинает проявлять свою скрытую адаптивность. Его философия, столь долго остававшаяся в спящем состоянии, начинает звучать как ответ — не реакция на моду, а возвращение к задаче, не воспоминание, а способ мышления, способный пережить симулятивную бурю.

Маргинализация Пирса — возможно, не окончательный приговор истории, а временная ошибка культурного отбора. То, что было отвергнуто не из-за слабости, а из-за избыточной устойчивости, может быть восстановлено именно через тот механизм, которому сам Пирс доверял без остатка — через исследование. И если сегодняшнее мышление снова ищет основания, то оно почти неизбежно выходит на те следы, которые он оставил, уверенный в том, что истина не торопится, но всегда движется вперёд.

Эта книга стремилась извлечь фигуру Чарльза Сандерса Пирса из-под концептуального наносного слоя прагматизма, который слишком часто носит его имя, но редко сохраняет его замысел. Он был не проповедником утилитарности и не предвестником релятивизма, а мыслителем, выстроившим философию на фундаменте логической строгости, семиотической структуры и эпистемологической ответственности. Его философия не отказывалась от истины — напротив, она переосмысляла её: как асимптотическое достижение коллективного исследования, как очищенный результат абдуктивного поиска и как этическую верность знакам, значение которых простирается за пределы их употребления.

В эпоху, где мышление подменяется имитацией, где согласие становится перформансом, а убеждения

усиливаются алгоритмически, метод Пирса предстает не как отголосок рационализма девятнадцатого века, а как конструкция, необходимая для организации понимания в двадцать первом. Его триадическая семиотика, эволюционная эпистемология и логика исследования становятся не просто инструментами сопротивления распаду смысла — они позволяют вновь собирать его по частям, с точностью, скромностью и терпением.

Там, где современный прагматизм превозносит адаптивность, Пирс защищает дисциплину. Там, где постмодернизм размывает объект, Пирс сохраняет его место в структуре мышления. Там, где сегодняшняя эпистемология дробится на осколки перспектив, он обращает разум к горизонту истины — далёкому, незавершённому, но не мнимому.

Потому возвращение к Пирсу — это не жест памяти, а акт философского вмешательства. Он напоминает, что мысль оценивается не по числу сторонников, а по стойкости перед исследованием; что идея — не то, во что верят, а то, что готовы проверять; и что значение, если оно хочет выжить, должно отвечать не только настоящему моменту. В развалинах постправды Пирс не является забытым архитектором прошлого — он стоит как строитель фундамента, который ещё только предстоит заложить.

Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей *Pierce against pragmatism: Reclaiming the integrity of a misunderstood method* (Пирс против прагматизма: Возвращение целостности неправильно понятому методу), опубликованной в *The Common Sense World*. В этой статье я пересматриваю прагматизм с позиции Чарльза Сандерса Пирса, одного из его основателей,

чтобы восстановить первоначальную суть и значение метода, который часто трактуется неверно в современной философии. Надеюсь, эта критическая переоценка окажется полезной всем, кто интересуется историей и развитием философской мысли.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Kruger, B. (2025). *Pierce against pragmatism: Reclaiming the integrity of a misunderstood method*. The Common Sense World.
- Brandom, R. B. (2011). *Perspectives on pragmatism: Classical, recent, and contemporary*. Harvard University Press.
- Dewey, J. (1929). *The quest for certainty: A study of the relation of knowledge and action*. Minton, Balch & Company.
- Goudge, T. A. (1950). *The thought of C. S. Peirce*. University of Toronto Press.
- Hookway, C. (2000). *Truth, rationality, and pragmatism: Themes from Peirce*. Oxford University Press.
- James, W. (1907). *Pragmatism: A new name for some old ways of thinking*. Longmans, Green, and Co.
- Misak, C. (2004). *Truth and the end of inquiry: A Peircean account of truth*. Oxford University Press.
- Peirce, C. S. (1878). How to make our ideas clear. *Popular Science Monthly*, 12, 286–302.
- Peirce, C. S. (1931–1958). *Collected papers of Charles Sanders Peirce* (C. Hartshorne, P. Weiss, & A. W. Burks, Eds.). Harvard University Press.
- Peirce, C. S. (1992). *The essential Peirce: Selected philosophical writings, Volume 1 (1867–1893)* (N. Houser & C. Kloesel, Eds.).

Indiana University Press.

Peirce, C. S. (1998). *The essential Peirce: Selected philosophical writings, Volume 2 (1893–1913)* (The Peirce Edition Project, Ed.). Indiana University Press.

Rorty, R. (1982). *Consequences of pragmatism: Essays, 1972–1980*. University of Minnesota Press.

Rorty, R. (1989). *Contingency, irony, and solidarity*. Cambridge University Press.

Short, T. L. (2007). *Peirce's theory of signs*. Cambridge University Press.

Thagard, P. (2005). *Mind: Introduction to cognitive science* (2nd ed.). MIT Press.